

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Просим Вас принять участие в проекте нашего журнала, литературном и историческом одновременно, под девизом:

«А ты где был в семнадцатом году?»

По сути, это возможность принять виртуальное участие в Великой русской революции, для чего предлагается написать эссе или заметку, ответив на два вопроса. Некогда эти вопросы стояли перед каждым из участников исторических событий 1917 года, однако у вас есть перед ними немалое преимущество: вам известно, как развивались и как закончились события, и вы можете получить подробную информацию о почти любом их аспекте и участнике, о любой политической силе.

Вы в 1917 году в центре водоворота противоборствующих сил в любой из дней по вашему выбору, в любой из драматических исторических моментов. С кем вы? В какой вы партии, группе, дружине? Кого защищаете и против кого выступаете? Каким хотите видеть будущее России?

И главное — *почему?* Как вы объясняете свой выбор?

Вы в 1917 году в любой из решающих исторических моментов и у вас есть возможность влиять на развитие событий и направлять их, как вам заблагорассудится. Как бы вы изменили историю? Какой избрали бы социальный строй? По какому пути пошла бы Россия?

Размер эссе не ограничен — от нескольких строк до нескольких страниц.

Сроки гибкие — подборки ответов будут публиковаться в течение всего года, начиная с 5-го номера, хотя, разумеется, хотелось бы получить ваши мемуары о Русской революции как можно скорее.

Задача не так проста, как может показаться, — речь идет не о выражении своих нынешних взглядов, а о попытке взглянуть на известные события с совершенно иной позиции, отчего возникает множество вопросов, начиная с того, в каком возрасте именно вас лично застал 17-й год, и заканчивая исследованием того, как сложилось ваше сегодняшнее мировоззрение, что на него повлияло и каким оно могло бы быть при других обстоятельствах.

Всего доброго.

С искренним уважением,
редколлегия журнала "Дружба народов"

Вячеслав Рыбаков

А ты где был в семнадцатом году?

Когда с гор сходит лавина, глупо и бессмысленно уговаривать одну снежинку подвинуться влево или вправо, а другую — повернуть назад, тогда, дескать, людей погибнет меньше.

Когда на городскую набережную накатывает цунами, нелепо тужиться поделить вставшую на дыбы бездну на капли, а потом ещё и умничать: мол, эта капля права, а эта виновата.

Когда почва вдруг ушла из-под ног, когда привычный мир непоравимо взорван землетрясением, и дома, бывшие такими надёжными и родными, рассыпаются в пыль, а маленькие тела детей оказываются столь же беззащитными и хрупкими, как их целлулоидные куклы, поздно кричать: ворюги бетон разбодяжили!

Если бы я и впрямь мог менять историю семнадцатого года, первым делом я отправился бы в золотой век Екатерины к Радищеву.

Понимаю, сказал бы я, душа твоя страданиями человечества уязвленна стала. Моя тоже. Но ужель не достало в Отечестве нашем уродств, злодейств, бед и неурядиц, чтобы их ещё и выдумывать? Отчего Прямовзора твоя так пристрастно клеветает? Врать во имя истины, марать ради чистоты, творить несправедливость, взалкав справедливости — разве ж не оставил тебе Фатум иных орудий вразумления земных правителей? Будет, сказал бы я, в грядущей России замечательный поэт, он напишет: «Зло во имя добра! Кто придумал нелепость такую?» А ведь это, получается, не только о строителях коммунизма, но и о тебе. Ты именно так хочешь? Не лучше ль написать всё, как есть, о тех гнусностях, коим сам ты был свидетелем, и не выдавать сплетни интриганов за конструктивную критику, не придавать написанным с чужих слов поэзам и метафорам характера прямого политического доноса? Государыня-то матушка, чай, и сама не раз — в меру возможностей и способностей своих, разумеется, да кто ж живёт иначе? — давала окорот тем, кто слишком уж не ведал удержу в лестии и кривде; вот хоть Гаврилу Романыча спроси. Тоже ведь синяков набил

в своём стремлении к совершенству, тоже не раз стонал оттого, что «Поймали птичку голосисту»; но невозможного ни от государыни, ни от людей вообще — не требовал. Не пенял им бесперечь за то лишь, что они — не ангелы. И, между прочим, будучи в отставке, сделал столько для русской культуры, сколько ни на какой должности не сумел бы; и, кстати, Пушкина благословил...

Может, ежели б Александр Николаевич меня послушался, то и не произнесла бы потом императрица тех знаковых слов, под сенью коих так и покатила дальше история государства Российского: автор — бунтовщик хуже Пугачёва?

Наведаясь бы я к декабристам на какое-нибудь из их якобы тайных собраний. Сказал бы попросту: чем плотоядно толковать о необходимости царевубийства и в бесконечных спорах смаковать подробности сего благодетельного деяния, потому как без оногo никакой свободе воссиять не можно, лучше бы самим, не дожидаясь ни вышних рескриптов, ни кровавой мясорубки, сговорившись о дне и часе точнёхонько, всем вам единовременно дать вольную своим крестьянам? На площадь-то выйти смеешь, понятно; смеешь и нечастных солдатиков под картечь подставить, дело привычное, барское; и ни в чём не повинного Милорадовича застрелить исподтишка тоже — чем не подвиг; а вот смеешь ли свершить всею своей вольнолюбивой братией и впрямь плодотворный бескровный согласованный поступок? И ежели нагрянут потом жандармы и скажут: сие, ваше сиятельство, не по закону — вот тут-то и ответить с превосходством: законы совести превыше законов государевых. Ей-ей, было б куда как уместно!

Непреренно потолковал бы с Чаадаевым.

Ну как же можно, убедительнейшим образом намекнул бы я ему, не посвятить ни единое из «Философических писем» тому, что Россия, несмотря на двухвековое запаздывание относительно просвещённой Европы, сумела то, на что нынешний цивилизованный мир, полагающий африканскую работоторговлю законным бизнесом, и замахнуться до сих пор не смел? Внутри империи нашей уживаются ныне не просто разные, говоря по-умному, этнические группы, навроде французских бретонцев да пикардийцев, отличные одна от другой не более чем иголки на одной еловой ветке — но действительно разные и по крови, и по вере, и по разрезу глаз? Да, жестокостей ради такого единства натворили в своё время изрядно, на то и средневековье, прости Господи. Но ведь прижились, притерпелись, и даже плохо-бедно уважаем друг друга, взаимодействуем за-ради общей пользы! Каждый

занят своим делом по-своему, как растущие рядом сосна, ёлка, берёза, вяз... А тень даём общую. И кислородом обогащаем атмосферу вместе. И сообщаем противостоящим ветрам. Ну как на этом чуде не остановиться поподробней? Какая ж тут, к ядрене-фене, философия, ежели такое не проанализировать? А ещё, положи-то руку на сердце, разве наша черта оседлости, при всей её, мягко говоря, исторической ограниченности и с нынешней точки зрения неприглядности, идёт хоть в какое-то сравнение с тем, как из века в век решали еврейский вопрос прогрессивные державы, кровавыми депортациями, гонениями и сожжениями перекидывавшие народ Израилев друг другу, точно раскалённую головню? И говоришь, что мы ничего не дали миру? Да мы дали, только мир проглядел, ибо ему ни к чему. И ты проглядел вместе с ним...

Конечно, сказал бы я, такое письмо в Европе не понравится. Но тут уж надо определяться, мил-человек, для чего пишешь: чтобы попытаться улучшить страну проживания или чтоб понравиться её геополитическим конкурентам.

И так бы это, знаете, помалу, помалу...

Глядишь, у Николая Павловича не начинались бы корчи от одного только, пусть даже случайно услышанного в пустышном разговоре, слова «вольность».

Глядишь, и не понадобилось бы ему Третье отделение.

Глядишь, противники похода против восставшей Венгрии к моменту фактического распада Австрийской империи оказались бы не маргиналами, которых кот наплакал и которых всякому государственнику даже слушать срамно, потому как они единственно лишь вреда Отечеству желают, а уважаемыми, влиятельными членами кабинета и Сената и удержали бы царя от шалой и губительной для страны авантюры? И не напаяли бы на себя Россия трагикомический колпак жандарма Европы, каковым её в Европе с тех пор и воспринимают... Глядишь, с освобождёнными-то хлебопашцами русский капитал пошёл бы в рост чуть не на полвека раньше. Спокойней, уверенней, независимее. Глядишь, к двадцатому столетию на русских заводах работали бы русские станки, и ресурсы страны принадлежали бы не Нобелям, а Ивановым-Петровым, и финансовая система России не оказалась бы придатком французских банков...

И тогда семнадцатый год век спустя оказался бы памятен разве лишь тем, что в сердечном согласии с союзниками по Антанте русский флаг взвился бы над Проливами. Да и то вряд ли. Потому что на

кой ляд Проливы стране, где и так всё в порядке? Хотя, как у всех, у кого всё в порядке, настоящих дел — невпроворот. Вот хоть Севмор-путь...

Что же касается того, где и с кем бы я был в том семнадцатом, который и впрямь случился...

Чтобы ответить на этот вопрос по-настоящему честно, надо точно указать, ведомо ли мне будущее.

Если ведомо, то я, хоть и не люблю чужбину, и терпеть не могу мучиться разговором на чужих языках, стиснув зубы, эмигрировал бы. Чтобы не оказаться вынужденным убивать либо белых, либо красных. Либо тех, кто за Россию, либо тех, кто за светлое будущее. Потому что должно быть так: за Россию *и* за светлое будущее. А в ту пору это оказалось невозможным.

Я бежал бы, куда глаза глядят, лишь бы не оказаться перед необходимостью выбирать, донести ли первым на соседа, коллегу либо соперника, которые, как мне почему-то кажется, вот-вот могут донести на меня — или рискнуть своей жизнью и жизнями жены и детей, но сохранить чистую совесть. Я бежал бы на край света от перспективы на осенённых кумачовым воплем «расстрелять врагов народа, как бешеных собак!» собраниях учёного совета поднимать руку «за» и видеть, как сидящие кругом почтенные светочи науки, потрясающие специалисты и эрудиты, добродушные, уверенные в себе и всегда интеллигентные мои кумиры, так любящие за чаепитием поговорить о слезинке ребёнка, пряча глаза, делают то же самое. Я добежал бы хоть до кенгуру, хоть до пингвинов, только бы не слышать в райсовете в ответ на элементарную жалобу об отсутствии зимой дров жирный и всесокрушающий ответ: «Вам что, советская власть не нравится?»

Если же грядущее было бы от меня скрыто, как и от всех простых смертных, я бы, конечно, твёрдой поступью шёл в первых рядах строителей нового мира. И если конкретней отвечать на вопрос, заданный в заголовке, я, естественно, был бы там, куда послала бы партия.

Никто, насколько мне известно, не проводил подобных социологических исследований, да и вряд ли они возможны, но есть у меня подозрение, что такие, как я, составили основную массу ломовых энтузиастов очистительной бури. И уже к концу двадцатых оказались почти поголовно вычищены за верность и искренность, обернувшиеся не тем, так другим уклоном.

С одной стороны, простонародная рабоче-крестьянская закваска

ещё никуда не делась. Любое начатое дело должно быть хоть кровь из носу, но сделано, и сделано хорошо. Грядку вскопаешь, а уж тогда водички попьёшь; пока не вскопал, даже присесть нельзя, совестно, стыдно, зимой ведь жрать будет нечего. Навоз — не грязь, навоз — соль земли, навозом не брезговать, а дорожить надо, без него земля беднеет. Сложный станок драгоценней человека, потому как запчасти к нему в нашем отечестве поди достань, а бездельников вона скока без толку по улицам шляется! И главное: если ты сам не сделаешь, никто за тебя не сделает. Хоть в три смены, хоть в четыре... Помните, как хрипел Урбанский в фильме «Коммунист»? «Людам хлеб нужен, понимаете? Хлеб!»

С другой стороны, именно на первое — ну, пусть полуторное — поколение горожан с наибольшей силой обрушивались интеллигентские искания и мечтания, и если уж превращали в неофитов, то в пусть сколь угодно добрых, а всё равно фанатичных. Сосыализм! Всемирное братство! Стремление к культуре неизбежно пропитывало их иллюзиями культуры раньше, чем самой культурой. У них не было здорового скепсиса потомственных благородных, а социальное неравенство прессовало и кошмарило их куда сильнее, чем гогочек, легко и без особых угрызений бросающихся, при их-то боннах и гувернёрах, от одной идейной крайности к другой.

Да и ведь и правда не продавить было ничего доброго и полезного сквозь толщу зажравшихся, спящих с открытыми глазами на рабочих местах пузанов в эполетах! Говорить они все были мастаки — а страну кособочило, лихорадило, несло вразнос! К началу века огромная империя застряла как булыжник на стремнине — да, время от времени её бестолково перекачивало то одним боком по течению, то другим, но история стремглав неслась мимо, а она лишь взбивала в ней пену.

По совести-то говоря, большевистский рывок в светлое будущее, в отличие от сосыализма интеллигентской болтовни, не был пустой демагогией.

В декабре 21-го года, ещё кровь Гражданской на полях не просохла, впервые в России были получены высокообогащённые препараты радия. Кругом — голод, холод, банды... В 22-ом стараниями и под началом академика Вернадского создаётся Радиевый институт. Вернадский носился с этой идеей много лет. Ни у царя в его пресловутой «России, которую мы потеряли», ни у позорных временных временщиков до таких глупостей руки не доходили.

По Арктике, буквально вдоль нашей береговой линии и далее на север кто только не плавал, от Норденшельда до Нансена. Всем нужен был короткий путь из Атлантики в Пасифик, и у всех глаза горели от мечты достичь полюса. Только самой России это было отчего-то не нужно. Долго лейтенант Седов — кстати, тоже горожанин в первом поколении, сын рыбака из области войска Донского — обивал пороги бесчисленных важных, хорошо финансируемых и отменно питающихся императорских учреждений: дайте на экспедицию хоть сколько. Нет, не давали. План экспедиции абсолютно фантастичен, Россия не заинтересована в полярных авантюрах. Ну, понятное дело: по вечерам чиновники под коньячок благодушно беседовали о турецких Проливах. В итоге объявили через газеты сбор пожертвований. Всё, что смогла необъятная, ломящаяся от богатств Россия выделить как государство — это десять тысяч рублей, что пожертвовал лично государь как частное лицо. Примерно столько же дал Шаляпин...

Курская магнитная аномалия, самый большой в мире железорудный бассейн, открыт был в 1883 г. Предварительные вялые исследования тянулись ни шатко ни валко чуть ли не четверть века — и так и остались втуне. Изучение и разработка всерьёз начались в 1923 году по прямому указанию того самого Ленина, на чьи памятники всякому порядочному человеку, как известно, непременно надо, проходя мимо, плевать, потому что он был враг интеллигенции.

И так — что ни возьми.

Конечно, по мере сил я был бы среди тех, кто мочил косную тушу империи в сортире и строил будущее. Потому что в конечном счёте только это и оказалось действительно для России, в отличие и от прекрасных и яростных речей о мировой революции и братстве не имеющих отечества пролетариев, и от разудалых белогвардейских тостов за единую и неделимую. Есть даже отличная от нуля вероятность, что я выжил бы и на старости лет увидел какие-то плоды своих трудов. А что лежало бы у меня к тому времени на совести — я никому бы не рассказывал.

Но так ли, этак ли, в эмиграцию ли или в стройные ряды трудящихся, но я бы хотел, чтобы в семнадцатом мне было двадцать три.

Почему?

Очень просто.

Потому что сейчас мне шестьдесят три. И я точно знаю, что при любом раскладе двадцать три — лучше.